

Галина
Щербакова

**МЕТКА
ЛИЛИТ**

НОВЫЕ ПОВЕСТИ

Галина Щербакова
...по имени Анна

«ИП Секачев В.Ю.»

Щербакова Г. Н.

...по имени Анна / Г. Н. Щербакова — «ИП Секачев В.Ю.»,

Эти последние повести Галины Щербаковой станут полной неожиданностью для поклонников ее произведений о "подробностях мелких чувств" и "женщинах в игре без правил". В ее новой прозе страшная действительность (Чеченская война) сливается с не менее мрачной фантастикой (заражение Земли "вирусом убийства"). Это своего рода "новая Щербакова" – все три повести ("Прошло и это", "Метка Лилит", "...по имени Анна") написаны резко, порой шокирующе. Но как иначе рассказать о том, как зачастую в нашей жизни бывают слиты в едином тесном объятии добро и зло?

© Щербакова Г. Н.
© ИП Секачев В.Ю.

Содержание

Звонок	5
Нюра	8
Мила	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Галина ЩЕРБАКОВА ...ПО ИМЕНИ АННА

Звонок

Это не мы помним прошлое. Это прошлое помнит нас. Я не знаю, идет ли оно за нами след в след или существует в капсулах, являя запахи, цвета, звуки, но в какой-то момент ты понимаешь: прошлое сохранено, и оно не просто владеет тобой, а из него – и ни из чего другого – лепится каждый день твоего сегодня.

Бесполезно вымарывать куски жизни, будто их не было, выбрасывать вещи – чтоб забыть, забыть и мчаться ради этого на другой край земли, – все с тобой, все продолжает существовать. В тебе ли, вокруг. Потому я не очень верю в силу раскаяния обыкновенного человека, если за ним черное прошлое.

Человек слабее своей прошлой жизни. Только великие святые способны разорвать паутину судьбы, которая тянется за нами. А уж о раскаянии целого народа смешно даже говорить. Вы когда-нибудь видели раскаяние моря в грехе утопления? Или раскаяние гор?

Это мои досужие, кухонные мысли. Мысли обыкновенной, грешной, слабой женщины, попавшей в колею не только своего, но и чужого прошлого.

Все началось со звонка, и первое, что я подумала, услышав голос по телефону: с ней не все в порядке. Ну, не может она произнести такую дикую фразу: «Очень удачный замуж». Она переводчица с немецкого, русским владеет как бог, ее речь приятно слушать, даже не вникая в смысл, а тут на тебе – «очень удачный замуж». Мне-то как раз нравится легкое искажение великого и могучего, оно несет дополнительную энергетику в выверенный, выверенный язык. Я балуюсь сленгом, просторечьем, ненормативом, мне это в кайф. Но Елена – всегда такая прю...

Мы знаем друг друга сто лет. Мне знакомы, как теперь поется, все ее трещинки; ее седину я закрашивала зубной щеткой. И знаю точно: повернутая козырьком назад кепка – это не ее стиль. Моя покойница-мама говорила о ней – «волосок к волоску». У мамы это не было комплиментом. Это была издевка. Ну, в общем, я в маму. Прямые линии, конечно, короче других, но зигзаг куда симпатичней. В нем может быть неожиданность. Любовь к жизненной геометрии стоила мне дорого, но сейчас не обо мне речь.

Значит, звонок. «Очень удачный замуж».

– Господи, Елена Васильевна, чей замуж?

– Валюшки. Он иностранец.

– Она разошлась со вторым мужем? Он же был такой успешный.

– Оказался пустой человек! Неужели ты не в курсе?

Начнем с того, что Валюшке под сорок, она на три года меня моложе и замуж у нее не первый. Первый студенческий брак был с Толиком, с которым она прожила почти треть своей жизни, очень им довольная. Потом возник другой. Когда мы виделись в последний раз, он собирался баллотироваться в Думу. Наши отношения с ней фактически давно прекратились, если не считать поздравлений с новым годом и днями рождения. С какой такой сырости *ее матери* специально звонить, чтобы сообщить о изменениях в жизни дочери *мне* – не соображаю, хоть убейте. С тех давних времен, когда я и Валюшка были студентками и кидали воланчик бадминтона, прошла уйма лет. Мы разъехались и во времени, и в пространстве. Сначала встречались раз в три-четыре года, потом все стухло.

Я была на ее первой свадьбе, у меня свадьбы не было. Я ходила к ней в больницу, когда она не доносила ребенка, она не знала ни о моей беременности, ни о том, что я родила.

Через несколько лет случайно столкнулись...

– У тебя сын? И ты молчишь?

Я молчала, у нее тоже мог быть сын.

И тут! Не Валюшка, а сама Елена Васильевна мне сообщает о новостях в жизни дочери. Как-то не по правилам, как бы ни с того ни с сего.

Мне нужна здесь хронология не потому что я такая уж любительница точных дат, а потому что время тут главный герой. Я сейчас, в мой сорок второй год, – не та, что была три года тому, а кем я окажусь еще через три года? Время ломает меня через колено с жестокой периодичностью, можно сказать, с детства. И вот оно, оказывается, коснулось и моей знакомой, если она заговорила корявым языком своей домработницы.

Я еще не знаю, какими катаклизмами пройдет по мне этот «удачный замуж», о котором мне почему-то надо сообщать. Поэтому словно утопленница по своей воле я, погружаясь в пучину прошлого, отмечаю, как рыбы проносят в своих мягких губах даты – время превращений.

Вдруг вспомнилось, что Елена Васильевна стеснялась геморроя и самолечилась с моей подачи – так лечилась моя мама – кусками льда из холодильника, а от слова «член» выпадала в нервический осадок. «Господи! Девочки! Ну, как вы говорите? Это же просто противно, невкусно!» Валюшка смеялась. «Но ведь тебе вкусно говорить – член предложения, член правительства. Даже фильм был такой в твоё время. А почему член человека – противно?»

– Потому что эта часть не называется членом. Это орган. Ну, назовите по-медицински – пенис, по-гречески – фаллос.

Мы закатывались от смеха.

– Фаллос! Мама, ты спятила. Эта мокрая гургулька – фаллос? Член, и нету ему другого имени. И это прилично. Потому что есть ему более точное название.

– Не смейте! – кричала Елена Васильевна.

И мы не смели.

– Ее избранник, – трещит трубка, – русскоязычный писатель, живущий в Германии. Боже, как он знает Россию! Нам бы так! Человек с широкими взглядами на мир. Одним словом, европеец. Роман у них случился просто как в сказке: поцеловал – проснулась. Мы с отцом счастливы. Девочка нашла себя.

Ну, никакой логики. Почему она – себя, если он – ее? И еще это – «девочка».

Это ж сколько лет тому было крашение волос зубной щеткой? Девочка за такое дело не взялась, а я человек простой и всю жизнь делаю любые работы.

– Давайте я! – говорила я *та*.

– Браки молодых, – продолжает Елена, – погибают от неопытности.

– О да, – бормочу я *эта*.

– Тут уже не детство (еще бы!) и отношения строятся на опыте (еще бы!), и, конечно, любовь (ну, не знаю).

Я ведь помню, как они лизались при мне – Валюшка и ее первый муж. У меня такая откровенная сексуальность вызывала и брезгливость, и зависть. Я старше, но у меня никого не было, я крупная, я девица-гренадер, а Валюшка – бабочка-капустница, вся такая красивая, трепещущая.

– Как это все случилось? – спрашиваю я уже о сегодняшнем.

– Ефим, так его зовут, здесь по делам. Волею судеб он зашел к нам.

Понимаю. Она германистка, он из Германии. Общие дела. Сердце мое не дало сбой при имени. Мало ли?..

– У него здесь переводится книжка. Его фамилия Штеккер. Ефим Штеккер.

Вот тут «мое сердце остановилось, мое сердце замерло». Так поет эдакий крепыш, глядя на которого моя бабушка, тоже любительница красного словца, сказала: «Да его ломом

не убьешь... Сердце у него остановилось...». Это несоответствие слов и могучести молодости ее забавляло, как всякий зигзаг жизни.

Бабушка – а ей, слава Богу, за восемьдесят – она пережила маму, любила телевизор и все, происходящее в ящике, воспринимала буквально. Плакала вместе с Таней Булановой, закатывалась над «тупыми родственниками» юмориста Евдокимова. Она слабела умом, не доставляя родным хлопот, а то, что не отличала войну киношную от настоящей и пугалась летящих с экрана самолетов, так это такая ерунда. Ну поплачет, ну посмеется. Так у нее усыхал когда-то острый и ядовитый ум. Я – в бабушку. Наверное, буду такая же.

Но не о ней рассказ. О моем окаменевшем на миг сердце, которое остановилось и замерло при имени Ефим Штеккер.

А Елена несет нечто странное. Ефим собирает «мясо», так он говорит, для романа и пришел к ним в поисках материала. «Но что мы знаем? Ничего. Мы сказали, что это ты неким образом причастна к его герою. Речь идет о дворничихе, у которой ты жила. Она ведь дочь ученого Домбровского? Правильно?»

Боже, с какого конца ухватить мне эту историю? Можно – раз-два – и выдать, что Фимка, никакой не немец, а полувеврей, был моим первым мужчиной. Но разве в этом будет вся правда, от которой я, тетка на пятом десятке, прихожу в ступор? Положила ли я трубку или время, болотисто чвакнув, поволокло меня опять вниз, и где-то там вверху осталась и телефонная трубка, и моя теплая уютная жизнь, а стою по самую грудь в тине и кто-то неказистый и маленький слизывает тину с сосков, и я млею от этого и хочу, чтобы это было бесконечно?

* * *

Тысяча девятьсот восемьдесят пятый год.

Девочка – я – снимает угол у дворничихи. Я не общественница и не отличница, и в институте мне не дают общежития. Хозяйку мою зовут Людмила, тетя Мила. Ей пятьдесят один год, она старая дева. Так она, говоря современным языком, себя позиционирует. И я, тогдашняя, размышляю над этим понятием. Учительница, врач, просто женщина, читающая книги, может называться старой девой. К дворничихе это слово – «дева» – не подходит по определению. Не годится и все. Ну, скажем – одинокая. И доярка одинокая. И вагоновожатая тоже. Старая же дева – это метка другой породы людей, должно быть, живших ранее, потому что сейчас они исчезают в природе вообще. И это, на мой взгляд, прогресс, что бы там ни говорили. Сексуальная революция стерла грань между девушкой и женщиной. Но тетя Мила девственница. И мне это непонятно. Она хороша собой даже в дворницкой робе. Ее воспитала некая Нюра, бывшая дворничиха. И, как это принято считать достойным, произошло династическое продолжение профессии.

Нюра

Нюру я не видела. На стене дворницкой в дешевых рамках она была неулыбчива и сурова. Моя хозяйка называла ее тетей, которая ее воспитала с младых ногтей, когда родители Милы умерли в какой-то мор еще до войны. Ну, с какой стати мне, студентке четвертого курса, интересоваться прошлым мором и всем последующим? А могла бы, дура, и поинтересоваться, может, чужой опыт жизни прибавил бы ума и зоркости. Но разве смолodu мы бываем мудрыми? Я мечтала о любви, одевалась в магазине «Богатырь». Там были, пусть и в небольшом количестве, кофты и юбки пятьдесят второго размера. Среди богатырей я была не очень. Вещи были убогие, но сейчас я даже не соображу – это мои сегодняшние понятия или я и тогда это понимала? Думаю, нет. Бабушка, мама, женщина на фото, тетя Мила и еще тысячи женщин, которых я видела, одевались плохо, потому что хорошие вещи можно было купить с рук в специально приспособленных туалетах возле МХАТа, в ГУМе, но где бы я взяла такие деньги?

Но моя история не о моей бедности. Бедность – это общий фон жизни, который уже не замечают. Люди стыдливо-насмешливо перешагнули восьмидесятый, когда мы уже должны были жить при коммунизме. Может, таким и должно было быть осуществление мечты – равенство большинства в скудости существования?

Но я же не об этом! Чтоб вырлиться к состоянию озноба и ужаса при имени Ефим Штеккер и тому, зачем он приехал и к чему я была, по мнению Елены Васильевны, причастна, мне надо вспомнить все о Нюре, мрачной женщине с серой фотографии, что висит в простой деревянной рамке.

Я о ней знаю со слов Милы очень мало. Но случайно я была в ее деревне Кучеровке. Там строили железнодорожную станцию. Там я проходила последнюю перед выпуском практику. Кучеровых, а такая фамилия у Милы, полдеревни. Старики помнили Нюру, которая бежала сюда в тридцать седьмом из Москвы с девчонкой. Там – словечко, там словечко... Песенка не складывалась. Так что за точность жизни Нюры я не ручаюсь. Детали. Девочку Нюра всегда стригла наголо. При немцах отдала в школу. Старики говорили: «Нюрка советской власти боялась больше, чем немцев. Что-то ей Москва сделала». «Что, что... – бормочет старуха, у которой я на постое в деревне. – Она только-только в Москву приехала. Нашла место. По кухне там и с дитем. Ну, и секир башка всем. Такое было время, сталинское. А Нюрка его и в селе повидала. Ну и подумай сама».

Я узнала, что из того дома, двор которого мела Нюра, а сейчас метет Мила, в приснопамятное время увели семью, где Нюра была домработницей. Трехлетнюю младшенькую она буквально прикрыла широкой деревенской юбкой. Потом – не сразу, через войну – Нюра стала дворничихой, получив в полуподвале дома, где жили родители Милы, комнатенку. Девочку она сразу после спасения остригла наголо, одевала в ношенные вещи, которые выбрасывали жильцы. Сказала всем, что девчонка – сирота из ее деревни, и никто из дома не признал в существе из тряпок и без волос дочь уведенных ученых-ботаников. Считалось, что увели всех. Та девочка была буйно кудрявая, носила шелковые платица и играла в колечко с палочкой, и ей не разрешали водиться с кем попало. А Нюрина девчонка стала Милкой-побирушкой, и дворничиха в целях конспирации способствовала дурным, или скажем, не лучшим поступкам девочки: можно было и попрошайничать, и рыться в мусорных баках, и приворовывать.

И я спрашивала и думала, думала и спрашивала.

Я ведь жила у этой женщины, которая говорила: «У меня болят корни волос. Меня в детстве всегда стригли наголо. Все боялись тифа».

Тиф – Сталин. Сталин – тиф. Это уже в моей голове, на которой растут волосы без боли, стучит мысль.

* * *

Она вышла тогда, когда опечатывали дверь, на раскоряченных ногах, между которыми замерла девчонка. В запущенном грязном подвале Нюра завернула ее во фланелевую юбку, сама осталась в исподней, благо та черного цвета, так и добралась до вокзала. В Кучеровке она тайно взяла чужую метрику племянницы-ровесницы и уехала в соседнюю деревню с неузнаваемым ребенком, не то мальчиком, не то девочкой. Там дождалась войны, абсолютно ее не боясь, ей казалось, что все страшное она уже видела, там Мила пошла в школу, которую немцы не закрыли. Нюра жила скрытно, она учила этому и девочку – бежать от людей, никому не верить, бояться всех. Она продолжала стричь ее наголо – будто от вшей. Это было понятно. Она соскабливала сходство с той кудрявой девчонкой, фотографию которой носила в лифчике. «Потому что так надо», – объясняла она себе это.

После войны Нюра опять поехала в Москву. В той квартире была коммуналка, а на дверях подъезда висело объявление: требуется дворник, жилье предоставляется. Комната в полуподвале оказалась той, в которой она переодевалась в тот страшный день. И она вернулась сюда.

Девчонка уже всю мела двор, когда у благотельницы начали неметь ноги. Каждым летом, когда работники роно ходили и переписывали детей, Милка отправлялась в деревню как бы в помощь на сбор урожая, а возвращалась – школьная перепись уже была завершена. Нюра берегла девчонку только ей понятным способом. А кому она нужна была, эта как бы и не совсем нормальная девочка, чтобы так уж вникать особенно?

Всю свою оставшуюся жизнь Нюра была лучшим дворником района. А в окошке подвала часто видели стриженую девочку, разглядывавшую мир не выше колен, которая потом стала ее помощницей.

Видимо, Нюра истово верила в конец советской власти. Она молилась, чтоб ушли дьяволы. Она слабо надеялась, что вернутся хозяева с третьего этажа, хотя бы кто-нибудь из них! Ведь там было трое молодых парней, братьев девочки. Могли и выжить. С тринадцати лет Мила уже помогала ей собирать сухие ветки, протирать лавочки. К ней, тихой, привыкли, считали, что у нее не все дома. Но она была безвредна и простая работа как раз по ней.

Нюра умерла от крупозного воспаления легких, работая при лютом морозе. Место досталась тихой Миле.

* * *

Она всю жизнь, уже после Нюры, метет двор и моет лестницу. Она понятия не имеет, какую стену между жизнью и ею выстроили тетя Нюра. «Ведь это только начини узнавать про то да се, – видимо, так думала покойная Нюра, – конца в этом не будет». Прожив коллективизацию, с ужасом слушая про шахтинское дело, когда ездила к дядьке-забойщику, а потом попав в Москву в самое начало репрессий, она не пошла работать ни на завод, ни на фабрику, она пошла в услужение. Она видела на вокзалах этапы, она видела сидящих на корточках людей, справлявших нужду под прицелом ружей.

Ну, случись счастливый конец и вернись родители после смерти дракона – другое дело. Вот вам целехонький ребенок. А раз не вернулись, то нечего ей и знать, как сворачивали шеи людям за просто так, а хозяин, дошел слух, замерз на лесоповале в первую же зиму. Правда – неправда, тогда этого не знал никто. И должно было прийти время Хрущева, чтоб можно было задавать вопросы на эту тему. Но опять же... Не Нюре же их задавать... Она любила

девочку как свою и, да простит ее Бог, наверное была бы расстроена, вернись родители. Ну, если подумать. С ними Милка прожила три года, а с ней уже считай семнадцать. Это вам не халам-балам. Деревенский голод в войну, детские болезни все как одна прошли друг за дружкой. Три раза, после скарлатины, воспаления легких и дизентерии, буквально из гроба дитя вынимала. Ну и чья она после этого? И думать нечего. Ее, Нюрина.

Откуда ей было знать, что Мила, моя лестницу в подъезде, иногда замирала перед дверью на третьем этаже, за которой была самая большая коммуналка дома. Она что-то смутно помнила, как бы чуяла про эту дверь. Вот она стоит в душном мраке, и кто-то сжимает ей голову, и она, маленькая, понимает: это должно означать молчание и нешевеление. А когда они ходили по комнате, Мила семенила ножками, держась за круглую резинку для чулок Нюры, вдыхая неизвестный ей запах женской плоти, чуть сладковатый, дурманящий и почему-то стыдный.

Так пахла тетя Нюра, а из двери на третьем этаже пахло иначе. Каждый раз по-разному, но один тоненький такой сладкий дух возникал неожиданно. Иногда Миле хотелось об этом рассказать, но между спасительницей и спасенной правила говорить на неконкретные темы не было, как не было ласки, сюсюканья. Жизнь была строгой, аскетичной.

* * *

Однажды едва не случился мини-взрыв в их существовании. Пришел молодой парень с сумкой на плече и пачечкой книг на веревочке. Это было уже после смерти Сталина, Мила была уже барышня, то есть абсолютно ею не была. Пришелец был студент, искал угол.

– И где тебе тут угол? – строго спросила Нюра. – Нас двое на территории. Третьему тут не быть.

Студент спросил, не знает ли она, кому в подъезде нужен жилец, уж очень ему удобен дом – факультет биологический близко, рукой подать...

– Не знаю, – сказала Нюра, – меня это не интересует. Походи ногами, поспрашивай.

– Можно я оставлю у вас свои бебехи? – спросил парень. – Плечо отдалил.

– Оставь, – милостиво разрешила Нюра

Парень ушел. У Милы же почему-то нашлось дело на лестнице, и она шмыгнула следом. Нюра этого не заметила, ее глаз застрял на книжке из пачки, что в веревочке.

Она выдернула эту книжку, не забыв связать пачку, чтоб не было заметно. Книга была «Ботаника», значит, о растениях, давно, в другой жизни, Нюра видела эту книгу. Там черным по белому было написано: Михаил Домбровский, ученый ботаник. И его портрет: красивый мужчина с буйными кудрями.

Опять всколыхнулось в ней все больное, давнее. Нюра ведь скрывала от Милки правду. Она показывала ей свои деревенские фотографии. «Вот твоя бабушка. А эта, боком, – мама. У нас тиф покосом прошел. Я успела тебя вывезти, когда он уже был в деревне. В юбку завернула и на поезд. Вывезла». Какие-то детали Нюра вносила для убедительности – юбку, например. «Люди в белом на станциях делали обход». Да, Мила помнила – были какие-то люди. Правда, они были в черном. Значит, забыла. Дитё ведь была.

Видимо, споро у нее все это вышло: вложить в чужую книгу фотографию кудрявой, в кружевах девочки, на обороте которой написано «Эмилия Домбровская, три года», лицом к лицу с ученым, завернуть книгу в кусок клеенки, обмотать бечевкой и сунуть под половицу, чуть-чуть прижав сверху углом сундука.

Зачем? Почему? Уже ведь не забирали людей, уже даже кое-кто вернулся. Но еще было страшно, выгонят с работы – и куда им деваться? А главное, каково девахе будет знать, какой у нее могла быть жизнь? Ведь это же спятить можно. Милка хорошая потому, что ничего плохого о жизни не знает. Школа – три класса. Нюра ведь не верила, что «этот гад» может

умереть. Ну, умер, а где лежит? На Красной площади, значит, вечно живой. А то, что книга уже появилась в руках студентов – так надо же их, дураков, на чем-то учить.

Нюра никогда не пускала жильцов, даже когда было очень голодно (зарплата-то одна). Но когда сама заболела, то сказала Милке: «Когда помру и будут проситься в угол, сдавай. Место там узкое, бери худеньких девчонок. Парней ни за какие деньги».

Однажды в восемьдесят четвертом в дверь постучалась я. Мне сказали: дворники сдают недорого.

Мила

Она долго разглядывала меня, большую, грудастую деваху с хозяйственной сумкой в руках.

– Угол маленький, рассчитан на худых и низкорослых, – честно сказала она, – а ты вон какая – как дерево. Тебе у меня не поместиться.

Но я поместилась.

Это не меня пустили в угол, это в мою жизнь вошло не мое прошлое и поместилось во мне, как я поместилась на узкой кровати. И откуда мне было знать, что часы моей судьбы затикали несколько иначе.

Я на самом деле сама не знаю, как еле-еле сумела подогнуть на железной кровати колени, и тогда Мила возьми и убери одну спинку кровати, а под сетку подставь сундучок. «Вытягивайся, что суставы-то мучить», – сказала она. А спинку вынесла к помойке. «Пионерам на металлоломе будет выполнение плана», – засмеялась она. Я хотела сказать, что мне, может, скоро дадут общежитие, и могут прийти худые и слабогрудые, но постеснялась. Будто знала, что я ее первая и последняя жиличка и кровать больше никому не понадобится.

Итак, сундучок. Всякое передвижение мебели, даже такой убогой, как сундук и табуретки, занятие небезопасное. Обнаружится мышиная нора или старая хлебная карточка, потерянная еще в войну. Мы ведь плотно живем на прошлом, с первого дня жизни выстраивая из него же будущее. Другого материала у нас нету. Ваше прошлое лепит неотвратимость падения самолета, на который сядет ваш еще не родившийся внук. Или забытое слово, которое так к месту было бы произнести вчера, всплывет через месяц и ты его скажешь некстати, но окажется, что именно оно, слово, завяжет узел мысли, и не ты, а кто-то другой, задумавшись, вдруг скажет: «А, пожалуй, и правда, что главный в человеке субстрат – слеза. Блаженны умеющие плакать. Самое чистое и искреннее, что есть в человеке, – слеза»...

Так вот, Мила двинула сундук. А под старым его местом криво лежала выскочившая дощечка. Мила поняла, что сдвинулась та сундуком, и стала прикладывать дощечку к месту, как надо. И та покорно легла, как ей и полагалось. Но старательная хозяйка помнила, что пол непрочен и из-под дощечки могут лихо ринуться мыши. А это только начнись – такая поруха, конца ей не будет. И она стала искать гвозди и молоток, а я решила выйти во двор. Осень была теплая, желто-горячая. Я подымалась снизу, из подвала, когда остановился лифт и из него вышла девушка с двумя ракетками в короткой плиссированной юбочке и футболочке нечеловеческой белизны.

– Хочешь поиграть в бадминтон? – спросила она. Это была Валюшка, с известия о которой завелся мой рассказ.

– Я не умею, – ответила я.

– Легкота, – сказала она. – Научишься.

И мы вышли во двор и стали неловко бросать и подкидывать воланчик. Валюшка была студенткой университета. От взмаха ее ракетки воланчик летел легко и красиво, но не долетал до меня. Я кидалась ему навстречу и била изо всей своей силы, он летел далеко и некрасиво, а однажды зацепился за ветку да так на ней и остался. Валюшка не рассердилась, сказала, что дома есть запасные, но охота играть прошла, и мы стали ходить по двору. Она постукивала себя ракеткой по ноге, а я свою нежно сжала под мышкой, боясь сломать. Я знала за собой это свойство – ломать хрупкие вещи, мне всегда было стыдно своей силы. Один парень в группе, он мне даже нравился, называл меня Микулой Селяниновичем. Я возненавидела его за это. «Гад такой!» Но что было, то было. Меня тянули в спорт толкать ядро или заниматься борьбой, я отбивалась, обижаясь до слез. Мне не нравилось быть большой и сильной. Мне хотелось бы быть как Валюшка, чтобы мне шли короткие плиссирован-

ные юбки, а маечки округляли бы маленькие холмики с сосочками-вершинками. Но я была девушка-дерево.

Мы заболтались. Валюшка ужасалась названиям предметов, которые я учила в своем техническом вузе, она говорила, что в школе от цифр ее едва не тошнило, что с четвертого класса у нее был репетитор, молодой аспирант, она в него влюбилась и совсем уж ничего не понимала. Тогда за дело взялась ее же школьная учительница, которая давала ей подзатыльники, когда Валюшка замирала над уравнением. Пришлось переводить ее в школу, где на математику разрешали смотреть сквозь пальцы. И она на ура прошла в университет и теперь просто обмирает на античной литературе.

– А это что? – спросила я, калязинская дура.

И она стала мне читать странные стихи, непохожие на то, что я слышала раньше. От их мелодии у меня закружилась голова и по коже пошел озноб.

Дитя школьной программы, я как-то не очень расширила круг чтения, даже будучи в Москве. Читала то, о чем говорили в институте «продвинутые» ребята, иногда их треп попадал в меня, но больше – мимо, мимо... Или я была не готова, или «продвинутые» были – не мои. А тут, как разбойник с большой дороги, гекзамер проломил стену, и замаячили сначала тени, а потом и лица другой литературы. Собственно, у меня так всегда. Я развиваюсь не исподволь, а рывками.

Одним словом, повисший на ветке волан сыграл в моей жизни роль затвора, который пустил меня в новый мир. Но тут я сильно перескакиваю через события куда более важные, чем Гомер и поэзия.

* * *

Пока мы бродили по двору с Валею и она омывала меня высоким стилем, Мила стала чинить пол. Она ударила молотком по гвоздю, который должен был прикрепить вылетевшую от движения сундука дощечку, но тут по какому-то неведомому закону физики рвануло вверх, и дощечка отскочила под кровать. В дырке же пола лежал перевязанный клеенчатый пакетик со следами мышиных набегов. Мила брезгливо взяла его в руки, поставив на дыру в полу ведро с водой. Она обтерла пакет, узнав Нюрину клеенку. Такая же, но выцветшая, много лет лежала на кухонном деревянном столике с дверцами. Мила ножницами разрезала веревку и обнаружила учебник. «Ботаника. Растения русских степей. Посвящается Александру Гумбольдту». На форзаце, на котором виднелись следы острых мышиных зубов, был портрет кудрявого веселого человека. Домбровский Михаил Эмильевич. Прижавшись к нему, лежал конвертик с детской фотографией. На ней малышка в кружевной накидочке, вся в кудрях, улыбалась так счастливо, как улыбаются только дети, которых еще не коснулась всей своей силой жизнь. На обороте было написано: «Эмилия Домбровская, три года».

Знание в нас входит буковками, капельками, песчинками, вдохами и замираниями. Практически бесшумно постигаем мы сущность жизни. Но случаются обвалы, которые вмиг сообщают нам все. И это можно не вынести. Мила вспомнила того давнего студента, который оставлял в каморке свои вещи. Вот же ясный библиотечный штамп на книге. Он вернулся за ними, но ему отдали не все. Детскую фотографию она не видела и не знала никогда, но как бы почему-то и знала, как эта девочка в кружевной пелеринке стоит и смотрит в большое зеркало. И кто-то женским голосом говорит: «Ее совершенно невозможно причислить. Совсем, как отец». Отрывистые, колющие, вспыхивали в ней не воспоминания – тени. Вот ее, закутанную, несет на руках женщина. Вот они едут – первый в ее жизни стук колес. Женщина эта с кухни, куда она любила бегать, чтобы нюхать два божественных запаха – ванили и корицы. Так ей сказали. И она повторила: анильярица. И все смеялись.

В другой, дальней комнате запах был приятный, но неизвестный. Больше никогда она не видела кухню, не вдыхала «анильарицу» и никогда не видела комнату, где ее подымал к потолку веселый кудрявый человек. Да еще была боль. Ее стригут наголо и грубо. Она сейчас проводит рукой по голове, ей больно и голова колется. Волосы ее тогда лежали на полу. Она плакала и прикладывала их назад. Они исчезли в печке.

Мила садится на краешек стула, как в гостях. Ее зовут Людмила Ивановна Кучерова. Уже два раза менялся паспорт. Она из деревни Кучеровка. Мать у нее была доярка. Она ее не помнит. Она всю жизнь жила с тетей Нюрой. Похороны, поминки (как же без них?), заявление корявыми буквами о приеме на работу, самостоятельное хождение в магазин за хлебом расширило представление о жизни у как бы дурочки. Надо было думать обо всем самой. Оказалось, что думать – интересно. Почему лето сменяет зиму? Почему белый хлеб стоит дороже, если черный вкуснее? Почему она осталась одна? К ней просились в жилыцы студенты. Она отказывала, потому что приходили в основном парни. За ней ходил хромой дворник с соседнего двора, холостяк и пьяница, они разговаривали, опершись на дворницкие метлы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.